

КУЛЬТУРА

А.П. ДАВЫДОВ

У истоков Российской Реформации (По прочтении повести Ф.М. Достоевского “Двойник”)

В статье рассматривается анализ Ф. Достоевским мышления “маленького человека” в условиях формирования в России “большого общества”. Исследуется конфликт между патриархальными стереотипами в менталитете героя и возникшей перед ним необходимостью мыслить рационально. Отталкиваясь от вывода писателя о конфликте между патриархальной культурой России, которая неэффективна и поэтому плоха, и культурой Запада, которая, хотя и рациональна и эффективна, но еще хуже, потому что она от Дьявола, автор статьи показывает: начиная с повести “Двойник” (1846) Достоевский определился со своим антиевропейским выбором. В отличие от А. Пушкина, который, поставив проблему личности, начал Российскую Реформацию, Достоевский – адепт русской религиозной и общинной почвы, стал первым глашатаем Российской Контрреформации.

Ключевые слова: Российская Реформация, Контрреформация, Пушкин, Достоевский, “Двойник”, инверсия, гиперактивность, гиперкомпенсация, личность, община, недо-, пере-

“Я теперь настоящий Голядкин”.

Достоевский о себе

“Это мой главнейший подпольный тип”

Достоевский об образе Голядкина-младшего

Все критики повести “Двойник” (1846 г.) – раннего произведения Ф. Достоевского – единодушны: мышление и поведение ее главного героя господина Голядкина – это описание клинического случая: герой неадекватен, потому что сумасшедший. К слову, В. Белинскому повесть не понравилась: “Фантастическое в наше время может иметь место только в домах умалишенных, а не в литературе, и находится в завывании врачей, а не поэтов” [Белинский 1982, с. 214]. Эту мысль затем повторил и А. Григорьев: «“Двойник”», по грешному разумению нашему, сочинение патологическое, терапевтическое, но несколько не литературное: это история сумасшествия, разанализированного, правда, до крайности, но, тем не менее, отвратительного как труп» (цит. по: 1972, т. 1, с. 491)¹.

Сам Достоевский поначалу был доволен повестью: «Голядкин в 10 раз выше “Бедных людей”... Голядкин удался мне донельзя» (1985, т. 28, кн. 1, с. 118). Правда, затем, попав под огонь критики Белинского, посчитал “Двойника” неудачей, но позже все-

¹ Здесь и далее в тексте статьи ссылки на произведения Ф. Достоевского приводятся в круглых скобках по Полному собранию сочинений Достоевского (Л., Наука, 1972) с указанием года, тома и страницы.

таки вернулся к оценке идеи этой повести как “довольно светлой”: “Серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил”, – писал он (1984, т. 26, с. 65).

Мне же представляется более продуктивным давать оценку этой повести, исходя из тезиса, что со времени царствования Петра I в России начались реформационные процессы. В обществе менялось видение фундаментальных ценностей русской культуры: Бога, нравственности, рациональности, дела, управления, профессионализма, религиозного выбора и, главное, субъекта этих новых веяний – человека, пытающегося осмыслить новый уровень своей свободы. Можно сказать, что деятельности Петра I было присуще не только закрепощение российского крестьянства, о чем хорошо известно, но в ходе его реформ в стране появились первые зачатки представлений о либеральных ценностях.

С творчества А. Пушкина, М. Лермонтова и раннего В. Белинского в России начался новый и основной этап реформ – *общественная рефлексия по поводу способности индивидуального, человеческого быть новым основанием русской культуры*. Пушкинско-лермонтовский ценностный выбор и начавшийся реформационный процесс приобрели форму литературной дискуссии о том, способен ли русский человек искать в себе новый уровень независимости от исторически сложившейся культуры. Общий вывод литературы был: не способен.

Но сама постановка вопроса писателями и критиками имела гораздо большее значение, чем ответы на нее, – разные, противоречивые. А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, И. Гончаров, И. Тургенев, А. Чехов ставили этот вопрос через поиск в русском человеке способности быть личностью. Достоевский, как и эти писатели, критиковал русскую соборно-авторитарную архаику. Тут он вписывался в начавшиеся реформационные сдвиги в мышлении. Но, в отличие от пушкинско-лермонтовской тенденции в русской культуре, Достоевский считал, что основанием развития России должна быть почва, община, самодержавие, религиозный русский народ. И что постановка вопроса об индивидуализме и личности – это западничество, разрушающее русскость. Внутренние противоречия, которые нес в себе писатель, и неспособность их преодолеть стали сутью всего его творчества. А начались они в “Двойнике”.

Почему современная автору критика не приняла идеи повести? Критики не знали, что делать с шизофреническим окрасом русскости в образе Голядкина. Литературно этот образ был сделан талантливо, но идеологически... Если русский человек страдает тяжелым психическим заболеванием, то все либерально-демократические схемы развития России непригодны. Ну, какое может быть будущее у страны, если субъект ее развития – шизофреник? Появляются “Бедные люди”, которые усилиями В. Белинского и Н. Добролюбова завоевали статус выразителя потребности России в демократических переменах. И вдруг выходит “Двойник”. Архаика маленького человека Якова Петровича Голядкина отличалась от архаики маленького человека Макара Девушкина. “Забитость” последнего объективно звала к переменам в России. А “забитость” Голядкина требовала обратного – возврата к локализму, патриархальности в управлении страной, отказа от строительства большого общества и европеизации государства. Достоевский осуждал Голядкина, но осуждал с любовью. Он любил своего патологичного героя.

Читатель и критика и в XIX, и в XX, и в XXI вв. оказались в затруднении. С одной стороны, в тексте повести они через писательский гений Достоевского видели правду образа Голядкина, с другой – им было трудно понять альтернативу, к которой призывал “Двойник”, коль скоро русская архаика плоха, а возводимое в России альтернативное архаике большое общество еще хуже.

Усилия критиков сводились либо к патопсихологическому анализу, либо к описанию страданий человека с ничтожными способностями и большими амбициями. Но чаще было другое: когда Голядкин не умещался ни в один из трафаретов, забредший в тупик аналитик объявлял “Двойника” неудачным произведением. Повесть – длинная (Белинский), скучная (К. Аксаков), “бред, близкий к сумасшествию” (А. Григорьев), “самый неприятный и скучный кошмар” (С. Шевырев), “нельзя представить себе ниче-

го бесцветнее, однообразнее, скучнее длинного, бесконечно растянутого, смертельно утомительного рассказа” (Л. Бранд), “весьма слабая повесть” (Ф. Булгарин), “повесть банальна” (А. Студитский), “недостаточно искусна” (Добролюбов) (1972, т. 1, с. 482–493). Не продвигает к пониманию идеи “Двойника” и благосклонный отзыв В. Майкова, сравнивающего Достоевского с любознательным человеком, “проникающим в химический состав материи”. Академик Г. Фридендер, интерпретируя Добролюбова, признает «сумасшествие Голядкина формой “мрачнейшего протеста” человека-“ветошки” против унижающей и обезличивающей его действительности» (1972, т. 1, с. 493). Но ни социально-ориентированная мысль Добролюбова, ни ее социально-ориентированная интерпретация Фридендером не проясняют смысла “светлой и серьезной идеи” “Двойника”, которой так дорожил его автор.

Филолог Е. Пенская интерпретирует эту идею, ссылаясь на Достоевского и Белинского: “Формула ее такова: никакое уничтожение бедности, никакая организация труда не спасут человечество от ненормальности, а следственно, и от виновности и преступности... ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой” [Пенская 2015]. Но эта формула – генеральная идея мировоззрения Достоевского. Критику философии социализма с позиции ценности христианства под микроскопом может быть и можно разглядеть в “Двойнике” (я не смог), но в гораздо большей степени она присутствует в других его произведениях, особенно в “Дневнике писателя”. А в чем уникальная специфика именно “Двойника”? Зачем Достоевский писал повесть о сумасшедшем чиновнике, назвав его: “мой главнейший подпольный тип”? Филолог В. Кулешов, повторяя основную идею достоевсковедов XIX в., считает, что в повести писатель вскрыл противоречие между желанием мелкого чиновника “казаться” и “быть” [Кулешов 1997, с. 403]. Даже если это и так, ну и что? Еще раз убеждаюсь: у филологии нет теоретических инструментов, чтобы анализировать социокультурную мысль писателей.

Достоевскоеведение XX и XXI вв. в основном делало крен в психиатрию и в религиоведение. Но психиатры, раскрывая некоторые механизмы формирования писателем образа психического больного, объясняют главным образом свои представления о психике, психиатрии и психотерапии, еще более уводя нас от понимания идеи “Двойника”. Религиоведение делает типологически то же самое – объясняет правильность своих постулатов, опираясь на цитаты из повести.

Я не занимаюсь ни патопсихологией личности, ни изучением художественных средств, ни реконструкцией истории написания художественного произведения, ни религиоведением, ни биографией писателя. Мой предмет – социокультурный анализ. Изучая текст “Двойника”, я концентрирую свое внимание на конфликте между культурой и обществом.

И первое, на что я обращаю внимание в логике автора, – это признание Достоевским маленького человека Голядкина своим любимым персонажем и одновременно разгромную, сокрушительную критику писателем русскости этого персонажа как носителя архаичного типа культуры. Для меня раздвоение автором героя на Голядкина-старшего и его двойника Голядкина-младшего – повод углубиться в анализ социокультурного конфликта между ценностными сдвигами в мышлении писателей XIX в., которые я называю Российской Реформацией и Российской Контрреформацией и связываю эти явления, соответственно, с именами Пушкина и Достоевского.

Маленький человек и большое общество

В чем Достоевский пошел дальше Пушкина и Гоголя? Он на материале сельского менталитета, помещенного в условия города, открыл механизм социокультурного конфликта – между исторически сложившимися общинными стереотипами культуры и нарождающейся моралью большого общества, опирающегося на индивидуальные социальные отношения. Родилась аналитическая оппозиция “маленький человек –

большое общество”, не потерявшая актуальности и сегодня. Началась она в творчестве Пушкина и Гоголя, но рефлексия маленького человека по поводу значимости своей малости появилась лишь в произведениях Достоевского и Чехова. Голядкин – о себе: “Человек я маленький, сами вы знаете; но, к счастью моему, не жалею о том, что я маленький человек. Даже напротив ... я даже горжусь тем, что я не большой человек, а маленький” (1972, т. 1, с. 117).

Какие стереотипы нес в себе маленький человек в “Двойнике”?

1) **Человек из мышинной щелочки.** Голядкин все время “дома сидит”, в театр и клубы не ходит, друзей не имеет, чуждается компаний, веселья вообще, психологически закрепощен, любит тишину, “спокойствие, а не светский шум” (1972, т. 1, с. 115, 116); привычное состояние – укрыться от жизни, “пролезть в какую-нибудь мышиную щелочку между дровами, да там и сидеть себе смирно” (1972, т. 1, с. 224). “Послышался шум... господин Голядкин съезжился и прыгнул за печку... Через минутку послышались опять чьи-то шаги... Тут господин Голядкин не вытерпел и высунул из-за своего бруствера маленький-маленький кончик носу, – высунул и тотчас же осекся назад, словно кто ему булавкой нос уколол” (1972, т. 1, с. 192).

2) **Особый путь.** Голядкин: “Я иду своей дорогой, особой дорогой... Я себе особо и, сколько, мне кажется, ни от кого не завишу... дорога моя отдельно идет, я... не так, как другие” (1972, т. 1, с. 116).

3) **Деление мира на “мы” и “они”.** Локализм “человека из щелочки” опасен. Сблизившись поначалу со своим двойником, Голядкиным-младшим, Голядкин-старший предлагает ему “вместе хитрить” на службе: “Мы с тобой, Яков Петрович, будем жить, как рыба с водой, как братья родные; мы, дружище, будем хитрить, заодно хитрить будем; с своей стороны будем интригу вести в пику им... в пику-то им интригу вести. А им-то ты никому не вверяйся... ты, брат, сторонись от них всех... будем хитрить и с своей стороны подкопы вести и носы им утрем” (1972, т. 1, с. 157). Враги Голядкина-старшего – все большое общество.

4) **Ощущение собственного ничтожества.** Пытаясь попасть на бал, он “до сеней и до лестницы добраться умел, по той причине, что, дескать, почему же не добраться, что все добираются; но далее проникнуть не смел, явно этого сделать не смел... не потому, чтоб чего-нибудь не смел, а так, потому что сам не хотел, потому что ему лучше хотелось быть втихомолочку. Вот он, господа, и выжидает теперь тихомолочки” (1972, т. 1, с. 132).

5) **Рабская философия.** Любимая фраза нашего героя: “Оно и все-то авось, может быть, как-нибудь, наверное, непременно возьмет да и уладится к лучшему” (1972, т. 1, с. 218). Не надо ничего предпринимать: все сделается само, само все образуется. В контактах со своими начальниками у Голядкина были лишь две любимые идеи: 1) “Принять начальство за отца... принимаю, дескать, благотельное начальство за отца и слепо веряю судьбу свою”. 2) “Я совсем не вольнодумство... я бегу вольнодумства; я совершенно готов с своей стороны и даже пропускал эту идею... Я далек от вольнодумства”. Он – любитель унижаться, покаяться, поклоняться в верности и т. д., болезненно обидчив, подозрителен... Он “игра природы”, “стаден” (1972, т. 1, с. 434). Достоевский называет Голядкина-старшего ветошкой “подлой и грязной” (1972, т. 1, с. 168). К слову, А. Григорьев называет его “вполне рабом, – рабом, для которого нет исхода из его рабства” [Григорьев 1982, с. 115].

6) **Умилительно-подловатое впечатление оставляет язык Голядкина. Вот пример:** “С своей стороны, презирая окольным путем и говоря смело и откровенно, говоря языком прямым, благородным и поставив все дело на благородную доску, скажу вам, могу открыто и благородно утверждать, Яков Петрович... – суд света, мнение рабочей толпы... Я говорю откровенно... если с благородной и высокой точки зрения на дело смотреть, то смело скажу, без ложного стыда скажу, Яков Петрович, мне даже приятно будет открыт, что я заблуждался, мне даже приятно будет сознаться в том. Сами вы знаете, вы человек умный, а сверх того, благородный. Без стыда, без ложного стыда готов в этом сознаться” (1972, т. 1, с. 203).

7) **Голядкин постоянно меняет маски.** То он делает “обиженный вид” (1972, т. 1, с. 118). То “немного надулся” (1972, т. 1, с. 124). То говорит “немного рисуясь” (1972, т. 1, с. 121), то “с чувством оскорбленного достоинства” (1972, т. 1, с. 125). То “заплакал совсем неожиданно... всхлипывая, кивая головой и ударяя себя в грудь” (1972, т. 1, с. 118). То “обеспечил себя тем же самым вызывающим взглядом, который имел необычайную силу мысленно испепелять и разгромлять в прах всех врагов... сверх того, этот взгляд вполне выражал независимость...” (1972, т. 1, с. 115). То “поспешил придать своей физиономии приличный, развязный, не без некоторой любезности вид” (1972, т. 1, с. 114). То пытается “прикинуться”, что это не он, а кто-то другой, похожий на него. То под влиянием безотчетно-импульсивного решения посетить ночью и без приглашения врача, он думает: “Я... сделаю вид, что я ничего, а что так мимоездом” (1972, т. 1, с. 113). То говорит, принимая вид “развязного и молодца поневоле”. То “сжал губы и значительно взглянул на чиновников”. То сделал “страшный, всеуничтожающий взгляд”. То “красноречиво умолк и с самой значительной миной, то есть подняв брови и сжав губы донельзя” (1972, т. 1, с. 124, 125). Эти жалкие, нелепые позы “маленького человека” – признак отчаяния, бессилия противопоставить что-либо своей нефункциональности, формой его адаптации к расколу с большим обществом как к болезни.

8) **Неспособность измениться.** В “маленьком человеке” господствует миф о том, что все неудачи человека зависят не от него, а от судьбы. В соответствии с этим Голядкин-старший, желая примириться со своим оппонентом, Голядкиным-младшим, предлагает ему: “Будем обвинять судьбу во всем этом, Яков Петрович” (1972, т. 1, с. 203). Миф о всесии судьбы – традиционный способ жить, дающий возможность сознательно не видеть причину своих несчастий в себе.

9) **Имитация активной деятельности.** Голядкин о себе: “Придавать слогу красоту не учился. Зато я... действую; зато я действую” (1972, т. 1, с. 116). Как же действует Голядкин? «Приезжая в Гостиный двор, он замучивал купцов, торговался, долго спорил с ними, подбирая себе товар на огромные суммы, но отказывал в задатке, когда его об этом просили, и уходил ничего не покупая. Разменивал крупные купюры на мелкие, в результате чего его бумажник увеличивался в размерах, что доставляло ему “крайнее удовольствие”». В общем, развивал “необыкновенную деятельность” (1972, т. 1, с. 122), не подозревая, что сознательная имитация деятельности есть форма шизофрении.

10) **Обида. Ненависть.** Он ненавидит большое общество, которое разрушило его привычный мир и насилует его, заставляя жить по своим законам. Поэтому он хочет отомстить ему за свои унижения. Голядкин – своему двойнику: “Не уйдешь!... Отольются волку овечьи слезы”; в нем горит желание “найти врага”, “сорвать маску”, “раздавить змею” и не позволить “затереть себя, как ветошку” (1972, т. 1, с. 163, 167, 168).

11) **Угроза насилия.** Голядкин – насмехающимся над ним мелким чиновникам: “Смейтесь, господа, смейтесь покамест. Поживете – увидите, – сказал он с чувством оскорбленного достоинства... Говорят еще, господа, что птица сама летит на охотника. Правда, и готов согласиться: на кто здесь охотник, кто птица? Это еще вопрос, господа!” (1972, т. 1, с. 125). Выглядит патологично, потому что он вроде бы угрожает, и всем смешно, потому что угроза не реальна. Но всего через несколько десятков лет Голядкины совершат большевистский переворот и установят в стране советскую власть. И получится, что эти угрозы – не миф.

Для того чтобы завершить портрет маленького человека Голядкина-старшего, я рядом с ним располагаю портрет его двойника и оппонента, маленького человека Голядкина-младшего. Он деловит, коммуникабелен, динамичен, постоянно на виду у начальства, готов выполнить любое поручение, пользуется доверием у всех сотрудников департамента. Вместе с тем подхалим, интриган, вор, двуличен, хитрый, “олицетворение подлости” (1972, т. 1, с. 432). В нем по мере приближения повести к концу, нарастают черты Мефистофеля, беса: он, как бесподобный Петр Верховенский в романе “Бесы”, кривляется, жлет, пакостит, издевается над Голядкиным-старшим.

Он – символ цивилизации греха. Достоевский записал об образе Голядкина-младшего: “мой главнейший подпольный тип” (1972, т. 1, с. 489).

За что же Достоевский ненавидит младшего и любит старшего, прощая ему все – и его культурную архаику, и неадекватность, и подличанье, и его патологию, переходящую в шизофрению? У Голядкина-старшего есть главное достоинство: он ненавидит своего двойника – формирующееся в России большое общество. Оно – тоже “урод”. Но по Достоевскому оно не просто плохое, оно – воплощение Дьявола. Голядкин-старший: “Нет более всевышнего существа... Все упразднено. Люди вольные. Все бьют друг друга явно, на улице”, – описывает Достоевский один из кошмаров Голядкина-старшего в наброске “Двойника” (1972, т. 1, с. 435). Скоро эта формула будет преобразована в более точную: “Если Бога нет, то все позволено”, и начнется теория спасения России через сакральность религиозного народа, через русскую почву.

Вот почему наш герой, хоть и плох, но он – свой, наш, родной, русский, насквозь пропитан общинной моралью и в Бога верит. Ему положена амнистия. “Я теперь настоящий Голядкин”, – пишет о себе Федор Михайлович, работающий над повестью. Голядкин же младший – тоже плох, но его амнистировать нельзя, потому что он не из русской почвы, чужой, в общину и Бога не верит. Он – результат не нашего влияния, он от Дьявола. Дьяволу амнистия не положена.

Как рождается неадекватность? Инверсия

Итак, я обнаружил неадекватность в мышлении и поведении Голядкина-старшего. Причина ее в том, что она рождается через русскую специфику – исторически сложившееся инверсионное мышление в условиях доминирования вертикальных, соборно-авторитарных ценностей в культуре². Но как рождается инверсия? “Двойник” через оппозицию “либо – либо” дает материал для ответа на этот вопрос.

Герой пытается со своим двойником установить отношения – сначала как с другом, покровительствуя ему, потом как с врагом, потом опять как с другом, но уже чувствуя себя зависимым от псевдодруга, потом как уже со смертельным врагом, и наконец, заходит в тупик, сдается, не зная как оценить этого другого, себя и свои отношения с ним. Кризис инверсионного метания между дряхлеющей культурой и нарождающимся порочным обществом переходит в катастрофу.

Как обобщить эту динамику? Суть инверсии в метании человека между противоположными полюсами-абсолютами, в неспособности отпасть от них и войти в условную межполюсную смыслоформирующую середину и там, освободившись от влияния всевластных полюсов как оснований, на своем собственном основании – личности – формировать новые смыслы. Эта медиационная (от лат. *mediana* – середина; ср. англ. *mediation* – поиск середины, медиация) схема, отражающая логику развития как таковую, достаточно надежна, так как проверена мною в процессе изучения текстов Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Гончарова, Тургенева, Чехова, Булгакова и современных писателей – В. Высоцкого, В. Маканина, В. Пелевина, В. Ерофеева, А. Гельмана, Т. Толстой и других.

Но с Достоевским – все сложнее. В логике его героев возникает новое в анализе инверсии. Его герои в стремлении природниться к абсолюту, все время перебарщивают. А разве нельзя в патриотическом, религиозном и т. д. порыве или в служебном рвении просто заявить о верности авторитарному “отцу родному” и соборному “народу”, который “всегда прав”? Разве нельзя в стремлении к свободе, вере, любви, красоте, справедливости просто сказать о своей преданности идеалу, пусть и сопровождая свои высказывания восклицательными знаками? Оказывается, нельзя. Недостаточно. Надо обязательно “переборщить”, “пересолить” – прилепиться к абсолюту так, чтобы он (Он) поверил в твою абсолютную преданность абсолютно.

² Не могу не напомнить, как о роли инверсии в российском социокультурном развитии писал А. Ахиезер [Ахиезер 1998].

Пушкин и Лермонтов сказали: надо так стремиться к идеалу, чтобы это стремление измерялось смертью. Смерти как критерия абсолютности стремления к идеалу Достоевскому показалось мало. И он сказал: надо так стремиться к идеалу, чтобы это стремление превращалось в свою противоположность. Что для этого надо сделать? Надо достичь эффекта “пере-“. Нужны гиперпреданность, гипе­родержимость, гипе­ровосторг, гипе­ротчаяние, гипе­рстрадание, нужно отключить *ratio* и включить гипе­ротпадение от своего рационального Я вплоть до отказа от своей личности, до маразма – до тотального равнодушия либо до преступления.

Это инверсия. И это новое в анализе русскости. Такого ни до, ни после Достоевского не было. Идея шизофреногенного “пере-” мне показалась важной. Желание понять, откуда это “пере-” берется, заставило меня обратиться к статье М. Эпштейна, исследовавшего лингвистическую и культурологическую сущность приставки “недо” в словах русского языка. Оценка им культурного содержания “недо-” исходит из логики и структуры языка [*Эпштейн*]. Моя же культурологическая оценка “недо-” исходит из первичности инверсионной логики мышления русского человека. Водрузив концепцию “недо-” на смысл инверсионной доминанты как на основание русской культуры, я получил движение мышления от плохого “недо-” к ужасному “пере-” как глубинную динамику русской архаики. И положил эту специфику в основание своего анализа текста “Двойника”.

“Недо-”

“Крестьян Иванович (немец, доктор, к которому Голядкин нагрюнул домой с незванным визитом. – *А.Д.*) нисколько не ожидал, да и не желал видеть пред собою господина Голядкина... он вдруг на мгновение смутился и невольно выразил на лице своем какую-то странную, даже, можно сказать, недовольную мину... (Голядкин. – *А.Д.*) сконфузился препорядочно, что-то пробормотал, – впрочем, кажется, извинение, – и, не зная, что далее делать, взял стул и сел” (1972, т. 1, с. 114).

В чем логика поведения нашего героя? Голядкин **недо**анализировал ситуацию, **недо**оценил сложившегося положения, **недо**поместил себя в возникшее отношение “Я – Ты”, **недо**понял смысла себя в возникшей “сфере между”. Он был **недо**рационален и **недо**адекватен, ибо **недо**сложился как субъект цивилизационного развития, **недо**сформировался как личность, он нес в себе **недо**зрелое социальное. Стереотип “недо-” и порождает низкую самооценку человека и отражает момент его самоуничужения, его цивилизационную **недо**завершенность. В его менталитете сработал аналитический инструмент “недо-”.

Что это за инструмент и из какой русской специфики он взялся? В логике мышления Голядкина, несомненно, был императив достижительности “до-”, повелевающий ему, начав что-то, завершать начатое – договаривать, доделывать, добиваться, достигать, достраивать – иначе он не осмелился бы пойти к врачу с вопросами. Но одновременно в структуре мышления Голядкина работал и противоположный императив “не-”, запрещавший ему достижительные действия и повелевавший ему, начав что-то, не завершать его: **недо**делывать, **недо**бываться, **недо**стигать, **недо**страивать.

Из сложения “не-” и “до-”, из необходимости доделывать и одновременно недоделывать возник оксюморон “недо-”, несущий внутреннюю инверсию,двигающий нашего героя вперед и одновременно толкающий его назад, заставляющий его решительно желать результатов своей деятельности и одновременно заставляющий на полпути “стусеваться”, остановиться и все бросить. Инверсионное “недо-” ведет Голядкина по проторенной дорожке – к новой “ни то ни сейности”, к новому застреванию. Эта динамика в “сфере между” – шизофреническая попытка неадекватной деятельности и такой же попыткой устранить возникшую неадекватность. В результате герой ищет “снизать благорасположение”, а обретает новый позор. Рвущееся вперед “до-” и охраняющее его “не-” вместе рождают “недо-” – победно, шумно все начатое и позорно все

на полпути тайно брошенное, недодуманное, недосказанное, недостроенное, недоделанное – мыльный пузырь, никчемность, разорение страны и голядкинскую пустоту.

Как инверсия выглядит в действиях Голядкина? “Но, вспомнив, что уселся без приглашения, (он. – *А.Д.*) тотчас же почувствовал свое неприличие и поспешил исправить ошибку свою в незнании света и хорошего тона, немедленно встав с занятого им без приглашения места. Потом, опомнившись и смутно заметив, что сделал две глупости разом, решился, нимало не медля, на третью, то есть попробовал было принести оправдание, пробормотал кое-что, улыбаясь, покраснел, сконфузился, выразительно замолчал, и наконец сел окончательно и уже не вставал более” (1972, т. 1, с. 114–115).

“До-” заставляет Голядкина действовать, а “не-” вынуждает не только не делать этого, но повернуть руль на 180 градусов. Именно на 180, а не на 30 или 120. Что же делает инверсионный Голядкин? Он принимает оба решения одновременно: первое, что он сделал, – это закрепился на стуле окончательно. Но одновременно он “на всякий случай, обеспечил себя тем же самым вызывающим взглядом, который имел необычайную силу мысленно испепелять и разгромлять в прах врагов господина Голядкина. Сверх того, этот взгляд вполне выражал независимость господина Голядкина, то есть говорил ясно, что господин Голядкин совсем ничего, что он сам по себе, как и все, и что его изба во всяком случае с краю” (1972, т. 1, с. 115). В этом взгляде произошел резкий переход от “недо-” к “пере-”. Инверсионное мышление ничего другого и не могло предложить нашему герою. Руль повернулся на 180 градусов, и родилась очередная глупость – поворот от самоуничужения, переходящего в конфуз, к самовозвеличанию, переходящему в претензию на наглость.

“Недо-”/“пере-” – древняя оппозиция стереотипов мышления/поведения, все еще доминирующая в русском менталитете. Это инверсионное движение мысли, психики, эмоциональных настроек человека от одного полюса/абсолюта к другому и обратно; это основание его инверсионного рывка от недооценки себя как неполноценного, “нищего духом”, “убогого”, “маленького”, “твари дрожащей” к переоценке, вознесению себя как всеильного чудо-богатыря, сверхчеловека, способного поднять дубину народной войны, революции; от самоуниженности к самовозвеличанию в героическом, революционном, жертвенном порыве, от самоуничужения к гиперкомпенсации; от ничто к всё, от одного абсолюта к другому противоположному – от одной формы своей неадекватности и саморазрушения к другой, еще более сильной, еще более неадекватной и разрушительной.

“До-” как гиперактивность

Как работает инверсионное “недо-”? Через гиперактивное “до-” и через гиперкомпенсирующее “не-”. Инверсионное и гиперактивное “до-” рождается из ущемленного самолюбия. Из унижения и самоуничужения. Но “возрождение”, “вставание с колен” на пути инверсии всегда ведет к новому всплеску гиперактивности, к новому “пере-”: “Вечно норволю как-нибудь вперед забежать...” (1972, т. 1, с. 177). Или же: “Так-то всегда; всегда-то я пересыплю” (1972, т. 1, с. 159).

Опытный, давно работающий в департаменте служащий Олсуфий Иванович решает организовать бал в честь рождения своей юной дочери. И приглашает на него все отделение департамента, в котором служит. Всех его членов, кроме Голядкина. Но комплекс неполноценности, ущемленное самолюбие Голядкина под давлением гиперактивного “до-” заставляют его проигнорировать отказ и посетить бал, так сказать, явочным порядком. Он пробрался в дом Олсуфия Ивановича тайно, через черный ход, и стоит теперь там, раздумывая: войти или не войти (быть или не быть).

Дело в том, что он находится теперь в весьма странном, чтоб не сказать более, положении. “Он, господа, тоже здесь, то есть не на бале, но почти что на бале; он, господа, ничего; он хотя и сам по себе, но в эту минуту стоит на дороге не совсем-то прямой; стоит он теперь – даже странно сказать – стоит он теперь в снях, на черной

лестнице квартиры Олсуфия Ивановича. Но это ничего, что он тут стоит; он так себе. Он, господа, стоит в уголку, забившись в местечко хоть не потеплее, но зато потемнее, закрывшись отчасти огромным шкафом и старыми ширмами, между всяким дрызгом, шламом и рухлядью, скрываясь до времени и покамест только наблюдая за ходом общего дела в качестве постороннего зрителя. Он, господа, только наблюдает теперь; он, господа, тоже ведь может войти... почему же не войти? Стоит только шагнуть, и войдет, и весьма ловко войдет” (1972, т. 1, с. 131).

Я всегда восхищался этим отрывком из текста “Двойника”. Здесь соединилось шизофреногенное все: и трусливо-наглое голядкинское, и то предреволюционное ощущение маленького человека, которое и хотело войти в большое общество, и боялось до поры войти, хотело войти в него как хозяин, но в эпоху Достоевского получалось – как “непрощенный гость на чужой бал”, и ничего кроме конфуза не получалось.

Голядкин преодолел страх и вошел. На балу он вел себя как уже сложившийся шизофреник: он постоянно терял чувство меры, его вела инверсия – то трусил, то наглед. “Рок увлекал его”. Пытаясь заговорить со своим начальником, смог выдать из себя лишь бессвязные уверения в преданности. Схватил именинницу и, несмотря на ее сопротивление, начал танцевать с ней, наступая на ноги стоявшим вокруг. Старухи и кресла отлетали от него. Он играл роль то воплощенного благородства, то оскорбленного в лучших чувствах...

Ratio молчало. Говорила исторически сложившаяся культура: локализм, дуальная структура мышления, логика “свой–чужой”, принцип “раб–господин”, страх, инверсия, уродливая смесь патриархального и частного права. “Машинально осмотрелся кругом...” Глухая стена непонимания отовсюду смотрела на него своим невидящим взором... Комплекс неполноценности грыз его: “Тоска не тоска, страх не страх... лихорадочный трепет пробежал по жилам его”. Он выглядел чудовищем. И чувствовал: каждый его гиперактивный шаг вел к катастрофе. Он трусил: “Ему пришло было на мысль как-нибудь, этак под рукой, бочком, втихомолку улизнуть от греха, этак взять – да и ступешаться, то есть сделать так, как будто бы он ни в одном глазу, как будто бы вовсе не в нем было дело” (1972, т. 1, с. 135). Шизофреническая гиперактивность, желание быть “всем”, перемежающееся с “страхом” и желанием стать “ничем”, – основная характерная черта маленького человека Достоевского. Но это и его инверсионный способ спрятаться от мира и сохранить себя – “букашку” – в какой-нибудь норке, в темном углу, когда мир становится все более сложным, рациональным, открытым и коммуникабельным.

Голядкина, конечно, выгнали с бала. Движущее его вперед гиперактивное “до”, инверсия и застревание между полярностями, комплекс неполноценности продемонстрировали свою никчемность, неадекватность, пустоту. И прежде всего самому Голядкину. Это была та простота, которая хуже воровства.

“Не-” как гиперкомпенсация

Голядкинское “не-” рождается из потребности защитить свое оконфузившееся “до-”, но, действуя инверсионно, лишь усиливает конфуз. Эпштейн в “Братьях Карамазовых” так интерпретирует взаимодействие “до-” и “не-”: «Катерина Ивановна **до** (выделено здесь и далее мной. – А.Д.) такой степени любит Дмитрия Карамазова, **до** такой надсады всепрощения и самоотречения, что... вовсе даже и **не** любит его... Штабс-капитан Снегирев **до** такой степени отчаяния нуждается в деньгах, **до** такого “дикого восторга” доходит, когда Алеша передает ему двести рублей от Катерины Ивановны, что... **не** берет их, бросает на землю и с наслаждением и остервенением топчет каблуком» [Эпштейн].

В “Двойнике” конфликт между “до-” и “не-” рождается по-иному. “Не-” выставляет Голядкина перед людьми как шизофреника. Он живет в XIX в., а его общинное Я – все еще в патриархальной ветхозаветности. Современность требует от него индивидуального творчества, а для него все еще главное – сплотиться с начальством и

ближними, чтобы в достигнутом всеединстве успешно противостоять враждебному миру, который “лежит во зле”. Поэтому Голядкин с помощью “не-” стремится скрасить неадекватность своего гиперактивного “до-” – позднего визита домой к врачу без приглашения. Вот образчик его общения с доктором (голядкинские “не-” и другие отрицания я далее выделяю жирным шрифтом. – А.Д.): “Я хочу сказать, Крестьян Иванович, что я иду своей дорогой, особой дорогой, Крестьян Иванович. Я себе особо и, сколько мне кажется, **ни** от кого **не** завишу... Я, Крестьян Иванович, хоть и смиренный человек, как я уже вам, кажется, имел честь объяснить, но дорога моя отдельно идет, Крестьян Иванович... Извините меня, Крестьян Иванович, я **не** мастер красно говорить... Я говорю, чтоб вы меня извинили, Крестьян Иванович, в том, что я, сколько мне кажется, **не** мастер красно говорить, сказал господин Голядкин полубоженным тоном, немного сбиваясь и путаясь. – В этом отношении я, Крестьян Иванович, **не** так, как другие, – прибавил он с какою-то особенною улыбкою, – и много говорить **не** умею; придавать слогу красоту **не** учился. Зато я, Крестьян Иванович действую; зато я действую, Крестьян Иванович!.. Я, Крестьян Иванович, люблю спокойствие, а **не** светский шум. Там у них, я говорю, в большом свете, Крестьян Иванович, нужно уметь паркетки лощить сапогами... (тут господин Голядкин немного прищаркнул по полу ножкой), там это спрашивают-с, и каламбур тоже спрашивают... комплимент раздушенный нужно уметь составлять-с... А я этому **не** учился, Крестьян Иванович; хитростям этим всем я **не** учился; некогда было. Я человек простой, незатейливый, и блеска наружного **нет** во мне... Человек я маленький, сами знаете; но к счастью моему **не** жалею о том, что я маленький человек. Даже напротив, Крестьян Иванович; и, чтоб все сказать, я даже горжусь тем, что **не** большой человек, а маленький. **Не** интриган – и этим тоже горжусь. Действую **не** втихомолку, а открыто, без хитростей, и хотя бы мог вредить в свою очередь, и очень мог бы, и даже знаю, над кем и как это сделать, Крестьян Иванович, но **не** хочу замарать себя и в этом смысле умываю руки... **Не** стараюсь унижить тех, которые, может быть, нас с вами почище... Полуслов **не** люблю; мизерных двуличностей **не** жалею; клеветой и сплетней гнушаюсь. Маску надеваю лишь в маскарад, а **не** хожу с нею перед людьми ежедневно... – заключил господин Голядкин, бросив вызывающий взгляд на Крестьяна Ивановича” (1972, т. 1, с. 116–117).

Закончилась яркая речь Голядкина, предназначенная для того, чтобы сгладить впечатление от инверсионности и гиперактивности “до-”. Но так как Голядкин других смыслов, кроме “не-” и “до-”, не знает, то его “не-” работает, так же, как и “до-”, инверсионно и гиперактивно, то есть усугубляет впечатление, произведенное “до-”. Рождается и с каждым “не-” усиливается впечатление, что Голядкин – сплетник, интриган, двуличен, клеветник и, чтобы возвыситься, не прочь и унижить соперника. И что нашего героя поедом ест подозрительность и мстительная зависть к людям, которые способнее и образованнее его, а главное, более адаптированы к современному стилю общения – открытому, деловому, лаконичному, нацеленному на результат. Голядкинское “не-” рождается как гиперкомпенсация, являя новый ряд чудовищ и глупостей.

Желая пофорсить на Невском проспекте, “задать эффекту”, Голядкин еще раз решил действовать гиперактивно. Нанял старинную голубую с осыпающейся позолотой карету с гербами – такую, в которой ездили в начале XVIII в. Одел своего слугу Петрушку в старомодный, обветшалый зеленый камзол в золотых галунах, ветхую шляпу с галунами, сапоги, украсил пажеским мечом. И вот экипаж с Петрушкой на запятках с громом и скрипом покатил по Невскому. Наш герой “несмотря на то, что время было сырое и пасмурное... опустил оба окна кареты и заботливо начал высматривать направо и налево прохожих, тотчас принимая приличный и степенный вид, как только замечал, что на него кто-нибудь смотрит” (1972, т. 1, с. 118). Все было хорошо: его гиперактивное “до-”, по-видимому, производило то, ради чего и был организован допотопный маскарад – подчеркивало значительность персоны пассажира кареты.

Но вот едва ползущий, гремящий всеми своими частями экипаж Голядкина неожиданно догоняют модные дрожки его начальника, и он понял, что с позолоченной

каретой и вооруженным слугой на запятках перегнул. Стушевался. Испугался. Спрятался в темный угол кареты. И постарался обратиться за помощью к своему “не-”. Но оно, на беду нашего героя, содержало гиперкомпенсацию... “Поклониться или **нет**? Отозваться или **нет**? Признаться или **нет**? – думал в неописанной тоске наш герой, – или прикинуться, что **не я**, а что кто-то другой, разительно схожий со мною, и смотреть как **ни в чем ни бывало**? Именно **не я**, **не я**, да и только! – говорил господин Голядкин, снимая шляпу пред Андреем Филипповичем и не сводя с него глаз. – Я, я **ничего**, – шептал он через силу, – я совсем **ничего**, это вовсе **не я**, Андрей Филиппович, это вовсе **не я**, да и только!... Потом, вдруг вспомнив, что срезался, герой наш вспыхнул как огонь, нахмурил брови и бросил страшный вызывающий взгляд в передний угол кареты, взгляд, так и назначенный тем, чтоб испепелить разом и в прах всех врагов его” (1972, т. 1, с. 113).

Гиперкомпенсирующее “не-”, пытающееся инверсионно снять напряжение, созданное гиперактивным “до-”, лишь усугубило провал мероприятия. Повернув руль на 180 градусов, оно отрицало случившееся действие целиком, как таковое, устремляясь к новому “пере-”, то есть отрицало вместе с автором проекта. Оно кричало: “Я – это не Я!”, “Меня – нет!!” А что есть? Ничего нет. Мира нет. “Голядкин не только желал теперь убежать от себя самого, но даже совсем уничтожиться, не быть, в прах обратиться” (1972, т. 1, с. 139). Но если ничего нет, то что может быть? Может быть шизофренический сдвиг в психике...

Куда же девалась личность героя в акте новой гиперкомпенсации? Он от своей личности отказался, передал ее привычке мыслить инверсионно и предался воле рока. Главное, он признал, что искать меру во всем на основе своего рационального Я, то есть быть адекватным, он не способен. Пребывая в плену инверсионной доминанты в принятии решений типа “либо все – либо ничего”, он не способен жить.

Цивилизационный выбор России

Что нам дало проведенное изучение аналитического аппарата Голядкина-старшего через “недо-”, “пере-”, “до-” и “не-”? Оно помогло нам не ограничиваться только перечислением неадекватных черт русского характера в “Двойнике”, но получить более обобщенные оценки ментальной динамики русского человека, сделать новый шаг в понимании того пушкинско-лермонтовского цивилизационного выбора, который делала Россия в XIX в.

Ценностный выбор в повести делает и Достоевский: либо святая для него, но неэффективная патриархальная община, либо личность – пока еще “гадкий утенок”. Писатель выбирает общину, но и от ее критики отказаться не может. И вместе с тем должен признать, что человек с нормальной психикой не может долго жить одновременно в двух противоположных мирах. В одном, построенном на мифах, и в другом – строящемся на *ratio*. Человек не может жить в семейно-братской культуре, унаследованной из палеолита, и одновременно в обществе, где доминируют ценность личности, гражданское право, деловая прагматика и индивидуальная ответственность. Он должен выбирать. Выбор – дело долгое, часто занимает столетия. И между началом раздвоения в сознании и его патологическим пиком всегда проходит какой-то период. Какое-то время расколота сущность больного живет в условиях тяжелейшего состояния разрыва поля социального взаимодействия, нарастающей шизофрении и ощущения предкатастрофы. Все силы, ресурсы в этот период человек тратит на то, чтобы удержаться в состоянии предкатастрофы и не сорваться, не скатиться к катастрофе. Но в конце концов, если ему не удастся перестроиться и сменить свои культурные основания – общину на общество – катастрофа неминуема.

Голядкин-старший должен был сделать выбор. И он его сделал. Он проговаривает с собой возможную свою просьбу к начальнику: “Я вот как сделаю: отправлюсь, паду к ногам, если можно, униженно буду испрашивать. Дескать, так и так; в ваши руки судьбу свою предаю, в руки начальства; дескать, ваше превосходительство, защитите

и благодетельствуйте человека; так и так, дескать, вот то-то и то-то, противозаконный поступок; не погубите, принимаю вас за отца, не оставьте... амбицию, честь, имя и фамилию спасите... и от злодея, развращенного человека спасите... Он другой человек, ваше превосходительство, а я тоже другой человек; он особо, и я тоже сам по себе; право, сам по себе, ваше превосходительство, право, сам по себе; дескать, вот оно как. Дескать, походить на него не могу” (1972, т. 1, с. 213).

“Походить на европейца не могу”, – в этом суть исторически сложившейся русскости перед лицом цивилизационного выбора. Голядкин пишет своему двойнику: “Либо вы, либо я, а вместе нам невозможно!” (1972, т. 1, с. 188). Русский человек не может, не хочет и не должен быть русским европейцем – в этом антизападный выбор Голядкина и Достоевского.

Россия – не Европа. Она – другая. Запад – это цивилизация “до-”, достижения, доведения до конца, додуманности, доделанности, дооформленности. Россия – это философия “не-”: нестяжания, непротивления, недеяния, но главным образом **недоделанности, недозавершенности**, ведущая к **недоразвитости**. Русская культура, общинная и возвышенная, походить на культуру личностную, приземленную, развращенную, прагматическую, эгоистическую, пришедшую к нам с Запада, не может, – основной вывод “Двойника” и цивилизационный выбор Достоевского.

Символична концовка повести. Врач, лечивший Голядкина, Крестьян Иванович Рутеншпиц (перевернутое немецкое “шпицрутен”), немец, на протяжении всей повести прекрасно говорит по-русски. Но в самом конце повести, когда он забирает нашего героя в сумасшедший дом, начинает говорить с ним с сильным немецким акцентом. И над уходящей каретой “два огненные глаза смотрели на него в темноте, и зловещею, адскою радостью блестя эти два глаза. Это не Крестьян Иванович! Кто это? Или это он? Он!” (1972, т. 1, с. 229).

Немецкое *ratio*, индивидуальные социальные отношения, большое общество, разрушающее общинность, – это все цивилизационный двойник русского человека и проклятия России, это Дьявол. Отказ от традиционной аналитической оппозиции “«либо свой – либо чужой”, “либо все – либо ничего”, “либо Россия – либо Европа” – это не наше. Открытое: зачем России европейская реформация? И сокровенное, невысказываемое: зачем России Пушкин?

Это основной вопрос Достоевского, полураскрытый в “Двойнике”, – как сжатая перед смертельным выстрелом пружина, разжавшаяся и ударившая в “Дневнике писателя” и в его “Пушкинской речи”. Этот вопрос и есть “светлая” и “серьезная” идея Достоевского, ничего “светлее” и “серьезнее” которой писатель не проводил.

Русский человек – “бедный”, “забитый”, “грязный”, “подлый”, “завистливый”, “мстительный”, “ветошка”. Он достоин самой беспощадной критики, даже отвращения, но он же свой и поэтому хороший; походить на немца не может и не должен. Он выглядит неадекватным только потому, что патологически теряет свою общинную сущность, раздвоен. Раздвоения русскости нельзя допустить. Европейской культуре, разрушающей дорогу сердцу Достоевского родовую русскость, нельзя доверять. Поэтому что нельзя доверять Дьяволу.

Странный вывод. Но это Россия. В русской культуре все еще господствует палеолит. Хотя одновременно последние 300 лет нарастает понимание, что палеолит бесконечно продолжаться не может. XVIII век: реформы Петра I, Екатерины II. Россия начала поиск значимых путей реформационных преобразований. XIX век: русскими поэтами были пропеты первые любовные песни, вера стала отделяться от религии, появилось “Я” как субъект культуры, личностный выбор двинулся по Русской равнине, началась **Российская Реформация** – религиозно-нравственная по своим целям и секулярная по своим средствам.

В творчестве А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, И. Гончарова, И. Тургенева, А. Чехова, Л. Толстого, Ф. Достоевского, М. Булгакова, Б. Пастернака, М. Шолохова, А. Галича, В. Высоцкого, Б. Окуджавы и др. Российская Реформация рефлексировала по поводу своей способности быть таковой. Нарастает грандиозная беспощадная критика

“мертвотушной” соборно-авторитарной культурной архаики. Одновременно развертывается критика типов формирующейся личности: “пародии человека”, “нравственного калеки”, человека “ни то ни се”, “уродов”, “обломовых”, “гамлетиков”, “вывихнутых”, “кисляев”, “шариковых”, “голубчиков”, “слипшегося кома”, “навозошаротолкателей”, которые появляются на русской почве. Через эту критику рождается пушкинско-лермонтовская идея нового для России культурного основания – принципа личности.

Но возросшая в XIX в. активность рефлексии создает и противоположную тенденцию – **Российскую Контрреформацию**, решительно отторгающую принцип личности и амнистирующую исторически сложившиеся соборно-авторитарные стереотипы нашей культуры как ее единственно возможное основание. И первым певцом этой Контрреформации становится Федор Михайлович Достоевский.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ахизер А.С. (1998) Россия: критика исторического опыта (социокультурная динамика России). Т. II. Теория и методология. Словарь. Новосибирск: Сибирский хронограф.
- Белинский В.Г. (1982) Собр. соч. В 9 т. Т. 8. М., Художественная литература.
- Григорьев А. (1982) Гоголь и его последняя книга // Русская эстетика и критика 40–50-х гг. XIX в. М.: Искусство.
- Кулешов В.И. (1997) История русской литературы XIX в. М., МГУ.
- Пенская Е. (2015) Достоевский против идей, химер и мечтаний. О нескольких жизнях Федора Михайловича, каждая из которых была несчастна (<http://lenta.ru/articles/2015/02/18/dostoevsky>).
- Эпштейн М.Н. “Недо”- как понятие и культурный символ (http://www.emory.edu/INTELNET/es_nedo.html).

At the Roots of the Russian Reformation (Reading the Fyodor Dostoevsky’ Novel “The Double”)

DAVYDOV A.*

* *Davydov Alexis* – doctor of sciences (Culturology), chief researcher, Center of Political Science and Political Sociology, Institute of Sociology. Address: 24/35, Krzhizhanovskogo St., Moscow, 117218; Russian Federation. E-mail: apdavydov@gmail.com.

Abstract

The article deals with the analysis of F. Dostoevsky’s thought of the “little man” in the conditions of formation of Russia’s “big society”. We investigate the conflict between the patriarchal stereotypes in the mentality of the hero and the need arose to him to think rationally. Based on the output of the writer of the conflict between the patriarchal culture of Russia, which is inefficient and therefore bad, and culture of the West, which, while efficiently and effectively, but even worse, because it is from the Devil, the author shows that starting from the story “The Double” (1846), Dostoevsky determine its anti-European choice. If A. Pushkin, raised the problem of personality – can be considered a pillar of the Russian Reformation, Dostoevsky – adept Russian religious and community soil, was the first herald of the Russian Counter-reformation.

REFERENCES

Akhiezer A.S. (1998) *Rossiya: kritika istoricheskogo opyta (sotsiokulturnaya dinamika Rossii). T. II. Teoriya i metodologiya. Slovar'* [Russia: a Critique of Historical Experience (the Sociocultural Dynamics of Russia). Vol. II. Theory and Methodology. Dictionary]. Novosibirsk: Sibirskii khronograf.

Belinsky V.G. (1982) *Sobr. soch. V 9 t. T. 8.* [Works in 9 vols. Vol. 8]. Moscow: Hudozhestvennaya literatura.

Epshtein M. "Nedo-" *kak ponyatie i kulturniy simbol* ["Nedo-" as a concept and a cultural symbol] (http://www.emory.edu/INTELNET/es_nedo.html).

Grigoriev A. (1982) *Gogol'i ego poslednyaya kniga* [Gogol and his last book]. *Russkaya estetika i kritika 40–50-h gg. XIX v.* [Russian aesthetics and criticism of the 40–50-ies of the XIX century]. Moscow: Iskusstvo.

Kuleshov V. (1997) *Istoriya russkoi literaturi XIX v.* [History of Russian literature of the XIX century]. Moscow: MSU.

Penskaya E. (2015) *Dostoevsky protiv idei, himer i mechtaniy. O neskolkih zhiznyah Fyodora Mihailovicha, kazhdaya iz kotorih bila neschastna* [Dostoevsky against the ideas, chimeras and dreams. On several Dostoevsky' lives, each of which was unhappy] (<http://lenta.ru/articles/2015/02/18/dostoevsky>).

© А. Давыдов, 2016

Сдано в набор 19.02.2016	Подписано к печати 19.04.2016	Дата выхода в свет 20.05.2016
Формат 70 × 100 ^{1/16}	Цифровая печать Усл. печ.л. 14,3	Усл.кр.-отг. 4,6 тыс. Уч.-изд.л. 18,6
Бум.л. 5,5	Тираж 316 экз.	Зак. 98 Цена свободная

Учредители: Российская академия наук, Президиум РАН

Адрес редакции: Профсоюзная ул., д. 90, Москва, 117997
Издатель: ФГУП «Академиздатцентр «Наука», Профсоюзная ул., д. 90, Москва, 117997
Оригинал-макет подготовлен ФГУП «Академиздатцентр «Наука»
Отпечатано в ФГУП «Академиздатцентр «Наука»» (Типография «Наука»),
Шубинский пер., д. 6, Москва, 121099